

Юрий Левинг  
«Мы еще повоюем»  
Памяти Омри Ронена

---

Писать о ком-либо в прошедшем времени всегда невыносимо трудно, а о безвременно ушедшем Омри Ронене — вдвойне. Каждое слово о нем приходится мысленно поворачивать и так и сяк, словно примеряя к выражениям взыскательную оптику самого покойного: а как бы он оценил сказанное и не заподозрил ли бы автора в презренном малодушии или в несоответствии его собственному представлению о высоком предназначении человека и филолога (а для него это было почти одним и тем же)?.. Ронен был воплощением научной строгости, королем филигранного комментария (кстати, лучший его труд в этой области, *An Approach to Mandel'stam* (1983), даже не переведен пока на русский язык). О его принципиальности ходили легенды. Он со многими не здоровался за руку, помнил всё и припоминал всем, от него могло достаться друзьям, включая и тех, кто уже перебрался в мир иной. И не потому что так хотелось, а по несчастной необходимости, чтобы ни у кого не осталось сомнения, что тень, брошенная на дорогах ему людей, прошла им незамеченной. Всё это происходило не от скверного характера или заносчивости, в чем некоторые, едва знавшие его, упрекали, а от старомодного и отчасти сознательно воспитанного им в самом себе до болезненных пределов чувства достоинства (есть в английском языке похожее и более емкое понятие — *dignity*). Врагов у него хватало, и он знал им цену. Перечитывая нашумевшую журнальную

---

© Yuri Leving, 2012

© TSQ 42. Fall 2012 (<http://www.utoronto.ca/tsq/>)

Автор искренне благодарен Ирине Ронен за ее любезное разрешение опубликовать цитаты из личной корреспонденции Омри Ронена с автором.

© Irena Ronen, Фонд наследственного имущества Омри Ронена, 2012.

публикацию его статьи «Плагиат» в августе нынешнего года, я писал ему, что заметил, как Ходасевич ненароком дословно повторил в рецензии 1936 года на «Приглашение на казнь» обидный укор из обзорной статьи Адамовича (1934) — известную толстовскую фразу о Леониде Андрееве («Он пугает, а мне не страшно»). Только Адамович припомнил ее в связи с другим романом — «Камерой Обскура». Вот так бывает, писал я Ронену: слова врагов помнишь лучше, чем друзей, но Сирин-то явно опознал и то, и другое.

Когда в разгар Второй интифады, весной 2001-го, я чудом уцелел под снайперским обстрелом по пути из Иерусалима домой в поселение Кфар-Эльдад, по ночной дороге аккуратно под горами «Царского» Гило (там по сей день живет мой учитель, Роман Давыдович Тименчик, нас с О. Р., собственно, заочно и познакомивший), бывший иерусалимец по-отечески наставлял меня: «Поздравляю с спасением. Я первый раз был под огнем осенью 56 года, зубы стучали совершенно произвольно. Проследите, чтоб у Вас не было посттравматических явлений: бывает легкий шок, от которого есть таблетки и уколы (помню по 73 году <т. е. по «Войне Судного дня» — Ю. Л.>). Постарайтесь после наступления темноты не ездить: дорога на Хеврон и в лучшие времена по ночам была небезопасна». У О. Р. была какая-то отчетливая страсть к приключениям. Когда он узнал, что израильское телевидение передало репортаж о происшествии, то попросил прислать ему видеокассету.

Еще, казалось, недавно я сам поздравлял его с 75-летием — правда с небольшим опозданием, вернувшись из летней России с третьим томиком его сочинений, состоящим из авторских колонок «Звезды», которые теперь перечитывал. Опасаясь банальностей, я позволил себе процитировать Адамовича, однажды писавшего Одоевцевой:

«...шлю поздравления и пожелания... как полагается в хорошем обществе. И правда — желаю Вам de tout соеиг всего, что можно. Но можно мало, и, в сущности, выходит, как у Тэффи: „а главное, здоровья!“ Я начинаю

думать, что это, действительно, главное, т. к. у меня болит то сё, то это, а вот теперь — печень, и видно, начинает человек разваливаться. Пора, мой друг, пора, — но не хочется».

И от себя добавил: «Ну, это у них, в Париже, а мы еще повоюем!». Омри поблагодарил, с легкой грустью заметив, что «хотя лучше бы опять двадцать пять, заколдованное число, как сказано в дурацком стихотворении Пастернака к 25-й годовщине 25-го октября». Он в это время как раз увлеченно занялся Пастернаком, поэтому в самом конце письма: «У меня же в сентябрьском <номере> будет довольно большой „Из города Энн“ о Слуцком — и против Пастернака. Предвкушаю рев переделкинско-православного прихода. Вот и все мои дела. Еще раз благодарю за память, желаю Вам с семейством здоровья, сил и непреходящей молодости. Еще повоюем». С Пастернаком связана последняя его при жизни опубликованная ежеквартальная колонка, получившая название «Головоломки». Читателю-современнику еще предстоит «поломать голову» над жанром литературных сочинений Ронена, воплотившихся в его десятилетнем сотрудничестве с журналом, к чести редакции которого, кажется, безоговорочно публиковавшим все предлагавшиеся им к печати тексты — и это несмотря на то, что иные из его колонок вызывали жаркие и надолго остававшиеся в памяти дискуссии в блогах. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, какими виделись ему эти заметки первоначально — об этом он поделился, вероятно, сформулировав задачу прежде всего для себя самого, отсылая свежие ксерокопии казавшейся тогда недолговечной рубрики «Из города Энн» («выслал позавчера — но из университета, аллах ведает, когда дойдут до Вас»): «Эти очерки не научные, я стал их писать по просьбе <Андрея> Арьева и потому, что на интервью, сделанное <Илоной> Светликовой и <Аркадием> Блюмбаумом, было много откликов.<sup>1</sup> Но я и не претендую на „художественность“, я не писатель, а просто помню кое-что и записы-

---

<sup>1</sup> «Надо знать, что значит эта музыка» (Интервью И. Светликовой и А. Блюмбаума с Омри Роненом) // *Новая русская книга*. 2000. № 3.

ваю, чтобы не пропало» (август 2001). По словам Ронена, редактор Наталья Иванова заказала у него в середине девяностых воспоминания для «Знамени», но в процессе работы он понял, что мемуары — не для него. «Не помню, посылал ли я Вам прежде первый очерк из *Звезды*, „Контрапункт“, там я написал, что просто делюсь мыслями о книгах и о жизни, прожитой на их фоне. Иногда получается сюжет. Развивать все возможные ассоциации — это не для меня, я люблю литературу факта, которая держится на строгом выборе, иначе мне скучно. Каждый очерк я сокращаю примерно наполовину от черновой версии». Всё в этом признании верно, кроме того, что с годами необходимость в защите от «художественности» отпала сама собой, ибо художественность стала непосредственно тканью повествования, принципом нанизывания этих самых сюжетов, переплетенных цитатным व्यюном на увлекательном биографическом покрывале ученого-рыцаря. Как в щит Ахилла вглядывался Ронен в собственное прошлое, выискивая в нем набоковские паттерны, легко и весело соединяя прозаические эпизоды с «прекрасными звёздами, какими венчается небо».

Про смерть Омри задумывался (наверное, самое позднее с памятных событий 1956 года), но если и боялся ее, то твердо знал, как встретить. Когда в 2004 году с лекцией в Лос-Анджелес к нам прилетал М. Л. Гаспаров, внимательный Ронен осведомился, как тот выглядел. После того, как я подробно описал, он пояснил, что беспокоился в связи с болезнью московского коллеги. Доклад, который привозил Гаспаров, должен был стать частью их общей работы о памяти в символизме и акмеизме, но продвигалась эта работа с трудом по причинам описанного характера. Омри и сам ожидал тогда возможного хирургического вмешательства, но описывал эти приготовления с мужественным остранением или как очередную цитатную шараду: «Вот интересно, будут ли мне рассекать грудь и вставлять в трепетную аорту новый клапан — то ли из свиньи, то ли из трупа, то ли из искусственного материала. На всякий случай, собираюсь составить завещание». Замечая, что покамест ему еще надо спешно писать очеред-

ной очерк для «Звезды», завершить указатель имен, и вообще «работы по горло», мой корреспондент резюмировал: «Вот такие организационные вопросы, на всякий пожарный случай». Готовясь к консилиуму, он виртуально «раздавал» коллегам фрагменты своего архива, одни предлагая мне, другие Илоне Светликовой, чью книгу об истоках концепций формальной школы в западном психологизме он ценил, — я ответил, что хотя предложение это очень лестно, я его даже не обсуждаю, припомнив песенку фронтového шофера из кинофильма 45 года, где пелось, что помирать нам рановато — есть у нас еще дома дела. Уверенный в толковости американских кардиологов, я выражал надежду, что обойдется без операции, и предлагал лучше почитать за него, как у нас принято, Техилим (Книгу Псалмов). К счастью, в тот раз я оказался прав; годы на «повоевать», а равно на дела домашние и ученые, Вс-вышний ему отвел, но недавняя потеря от того не кажется менее внезапной.

В феврале 2011 года, когда я усиленно погрузился в Бродского в связи со съемками документального фильма, у нас с О. Р. зашла речь о нобелевском лауреате. Бродского Ронен встречал в Йейле, в Нью-Йорке, в Миддлбери, но выяснилось, что как поэт, в общем, тот не представлял для него интереса. Последовало еще несколько острых ремарок о характере нобелиата, впрочем закончил Омри почти примирительно: «А между тем, когда <Бродский> читал стихи, чувствовалось присутствие поэзии как таковой. Жалко его: не мог отказаться от курения и умер, когда, казалось бы, нашел счастье, его дочери столько же, кажется, сколько моей, и почти тезки. Глупо умереть от курения: „И сигарета будет мой Дантес“. Он поэт своего поколения, за это его приходится уважать, как это поколение ни дурно, бесчестно и слабо». Ронен и сам принадлежал к этому же поколению, хотя бы номинально, по хронологическим признакам, однако при этом у него была ненасытная жадность и к молодежи, с которой он общался легко и просто.

Омри был для меня невероятной щедрости старшим товарищем и заочным ментором — безупречным камертоном, по

которому можно было проверить любую фальшь. В переписке, продлившейся без малого 14 лет, он делился как литературными комментариями, так и сколками воспоминаний — и то и другое скорее в жанре записок на манжетах, но от этого мелочи не выглядят менее ценными в обороте того, кто деталям этим уделял повышенное внимание. Как О. Р. писал мне уже по другому поводу:

<...> Да и мелочи — вопрос оценки и нормы. В жизни, в быту, мы, наблюдатели, скажем: „Какая мелочь“, а для непосредственно затронутого лица это может быть не мелочь. Чужую беду руками разведу. Тем более в литературе, в которой мелкий эпизод, подробность, могут перевесить остальное. Гейне, Чехов, Розанов, Ходасевич, Мандельштам именно „откладывают“ и „сортируют“ мелочи, но зато как скажут, так и останется „лицейская сволочь Митька Благой“ с веревкой Есенина и „параличный Дантес с Бассейной“.<sup>2</sup> И тут иные читатели говорят, „ах, он сводит счеты“. Конечно, как сказал Жюль Верн, кот не интересуется тем, что о нем думают мыши, но на деле и коты отвечают: тем, что ловят мышей и, поиграв с ними, съедают. Это правильный литературный подход: как у Набокова „Уста к устам“ (9 февраля 2011).

Помнится, как в первый день нашего знакомства в кулуарах корнелльского фестиваля в Итаке, когда в 1998-м году отмечалось приближение набоковского столетнего юбилея, Омри весело опорожнял один за другим бокалы сухого белого, которые подносили нам ловкие американские официанты в ослепительных фартуках (я исследовал тогда историю создания кафедры славистики Еврейского университета в Иерусалиме) — официанты кружили, вино всё не заканчивалось, как не заканчивались немедленно зачаровавшие истории из рога изобилия бездонной памяти собеседника.

---

<sup>2</sup> Неточная цитата по памяти о А. Г. Горнфельде из «Четвертой прозы»; у Мандельштама: «Этот паралитический Дантес, этот дядя Моня с Бассейной...»